



П. Т. МОРОЗОВ

Екатерина II как писательница

«Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть оно в чернила; буде же еще к тому лежит на столе бумага, то, конечно, рука моя очутится с пером на этой бумаге».

Этой шуткой Екатерина верно охарактеризовала свое увлечение книжными занятиями и склонность к авторству, развитую в ней с малых лет усвоенной привычкой к чтению. Впечатлительная и талантливая девушка, уже в раннюю пору юности предоставленная самой себе и приучившаяся вдумчиво всматриваться в окружающее, жадно набрасывалась на произведения писателей, имена которых гремели тогда по всей Европе, со всем пылом молодого ума, перед которым внезапно открываются неизведанные области и заманчивые, уходящие вдаль горизонты, отдавалась она обаятельному влиянию просветительной философии XVIII столетия и любила уходить в мир идей от скучной, однообразной действительности, от фальшивой придворной жизни мелкопоместного немецкого княжества, среди которой она росла. Росла — но не воспитывалась, потому что в этой среде воспитательный элемент совершенно отсутствовал, — и если воспитание будущей Екатерины II дало положительные результаты, то лишь постольку, поскольку ей не мешали самой себя воспитывать. Зачитываясь книгами Бэйля, Монтескье, Дидро, Вольтера, она впитывала в себя «умоначертание» этих провозвестников нового слова, проникалась их мыслями, училась по ним судить о жизни, — и новый дух невидимо и незаметно овладевал ею. Проповедь энциклопедистов, ловкая, остроумная, блестящая, — их искусство даже самые сложные и трудные вопросы представлять в легкой и приятной форме, умение спускаться, когда нужно, до уровня самой невысокой интеллигенции, — все это не могло не действовать самым увлекательным образом на чуткую и восприимчивую молодую натуру, — и Екатерина увлекалась этими писателями до обожа-

ния. «Дух Законов» Монтескье, по ее словам, был для нее «молитвенником»; Вольтера она называла своим учителем и считала себя обязанной ему всеми своими знаниями, прямым, здоровым взглядом, вкусом, благородным честолюбием и любовью к прекрасному. «Его произведения развили мой ум и мою голову, — говорила она. — Когда я была моложе, мне приятно было ему нравиться. Я не могла одобрить ни одного поступка своего, если он не был достоин сообщения ему, и тотчас его уведомляла о сделанном...» «Дайте мне сто полных экземпляров нового издания сочинений моего учителя, чтобы я их разместила везде, везде, — пишет она своему комиссионеру-корреспонденту Гримму, получив известие о смерти фернейского мудреца (1778). — Я хочу, чтобы они служили образцами; я хочу, чтобы их изучали, твердили наизусть, чтобы умы питались ими. Это образует граждан, гениев, героев и писателей; это разовьет сто тысяч талантов, которые иначе потеряются во тьме невежества» и проч. Разумеется, эти восторженные слова нельзя принимать иначе, как *sous toutes réserves*¹, и трудно представить себе, какая участь ожидала бы сотню экземпляров Вольтера, если бы Гримм понял слова императрицы, как буквальное приказание... Но факт решительного увлечения Вольтером остается все-таки несомненным. Сочинения Дидро, как и сам автор их, также пользовались, пожалуй, не меньшим вниманием и расположением Екатерины. Эти духовные руководители определяли ее мирозерцание, устанавливали ее умственный кругозор.

Просветительную философию XVIII века принято обвинять в поверхностности, легкомыслии, безнравственности, в отсутствии понимания прошлого и уважения к историческому развитию, в том, что она, потакая сильным мира и поощряя «просвещенный деспотизм», с презрением относилась к толпе, к народу, видя в нем не более, как человеческое стадо; наконец, и в том, что, судя обо всех вещах с точки зрения общечеловеческой, эта философия совсем не знала и знать не хотела начал национальных. Эти обвинения, в значительной доле справедливые, нуждаются, однако же, в некоторых поправках. Легкомыслие, поверхностность, как и внешний блеск изложения, были необходимым условием занимательности, о которой особенно заботились просветительные писатели, назначавшие свои сочинения не для специалистов, а для широкого круга публики; при большем глубокомыслии и ученой серьезности их, конечно, никто не стал бы и читать, и их книги только и ходили бы, что от одного письменного стола к другому. Безнравственность, и даже цинизм, — вовсе не исключительное свойство «просвети-

телей», вина которых только в том, что они, идя впереди своего века, все-таки не могли стать выше его, по известной пословице: «выше себя не прыгнешь». Понятия XVIII века о нравственности были далеко не похожи на нынешние, и многое такое, что теперь тщательно укрывается от общества в потайных уголках, тогда творилось открыто, перед всеми, и нимало никого не конфузило. Выше ли старых нынешние понятия *по существу*, — этого вопроса здесь касаться не место; но не следует забывать, что каждая эпоха смотрит на вещи с своей точки зрения, и что эту общую точку зрения нельзя ставить в вину отдельным личностям, в которых только отразился дух времени. Точно так же, с исторической точки зрения, не вполне справедливыми представляются и обвинения в недостаточном разумении прошлого и в презрении к народу. XVIII век, как и предшествовавшие века, не знал народа и народности: он знал только человека вообще. Тогдашняя наука, в лице Локка и его последователей, имевших такое решительное влияние на французскую философию, отрицала существование врожденных идей и видела в ребенке — белый лист, на котором воспитатель может написать все, что ему будет угодно, — кусок мягкого воска, из которого можно вылепить какую вздумается фигуру. «Народ», т. е. непросвещенная чернь, состоящая из рабов, обязанных беспрекословным послушанием, приравнивался к дикарям, — «детям природы», а эти последние — к малым ребятам, из которых, по теории, воспитатель мог сделать все, что только ему заблагорассудится. Таким воспитателем и являлся, в отношении к народу, его правитель; таким образом, «просвещенный деспотизм» был логическим результатом понятия о народе-ребенке как о *tabula rasa*². Само собою разумеется, что в этом круге идей не было и не могло быть места понятию о национальности: XVIII век и не знал ее, — он был вполне космополитичен. Ни Вольтер, ни Руссо и никто другой никогда не согласились бы признать, что между русским, французом, англичанином и т. д., в отношении к воспитанию, может и должно существовать серьезное различие, обусловленное историческим развитием народа и «национальным характером»; этих слов, в том смысле, в каком мы употребляем их теперь, тогда вовсе и не знали. Таким образом, эти отрицательные стороны просветительной философии не составляют ее исключительной особенности, а являются только выражением вообще господствовавших в то время понятий.

Гораздо более серьезным представляется другой упрек, который с большим правом можно поставить на счет этой философии, именно — упрек в теоретичности и разобщении с жизнью.

Не только для учеников и почитателей Вольтера, но и для него самого теория была сама по себе, а жизнь — сама по себе, и то, что осуждалось в теории, нередко оправдывалось на практике. В этом отношении у философии XVIII века были две мерки: одна — для себя, а другая — для «непросвещенной черни», которая не доросла еще до здравых понятий, а потому, до поры до времени, должна жить по старому. Просвещенный человек отрицает суеверие, но считает необходимым тем же суеверием влиять на чернь, чтобы «держатъ ее в узде»; для себя он стремится к равенству и свободе, но в применении этих понятий к черни отыгрывается софизмами, говоря, напр., что «вольность есть право все то делать, что законы дозволяют» или что «если вы нуждаетесь в паре сапог, то, конечно, не пойдете за нею к просвещенному человеку; следовательно, равенство — в одно и то же время — и самая естественная вещь, и самая неосуществимая мечта»... * Люди, чуждые лоска изящных искусств, настолько же заслуживают внимания, как свиньи и ослы, около них живущие... Масса людей была и еще долго будет бессмысленной и глупой... *Mundus vult decipi; ergo decipiat*³. Таким образом, просветительная философия была лишена прочной нравственной основы и своею двойственностью вносила в нравственные понятия смуту и распущенность. Вольтер, с такою едкою ирониею нападавший на правительства и придворную систему, на религиозные понятия и обряды, на всякого рода предрассудки, в действительной своей жизни, как известно, был очень далек от тех правил, которые проповедовал на словах, — и это двоеверие отразилось, в большей или меньшей степени, на всех его поклонниках и последователях.

При этом не следует также упускать из виду, что каждый человек извлекает из обстоятельств, из чтения, из столкновений с людьми только то, что сообразно с его собственным характером и настроением. Оттого и Екатерина, называвшая Вольтера «божеством веселости», всего более понимала и ценила в его произведениях ту легкомысленную шутливость, в которую он так часто облекал свои идеи, и ту подвижность ума, которая давала ему возможность не задумываться и не останавливаться перед сложными и трудными задачами. Таково же было ее отношение и к прочим литературным светилам своего времени: и в их произведениях она черпала и усваивала только то, что звучало согласно с ее собственной природою и настроением.

* Несколько наивнее и грубее, но зато откровеннее говорил Сумароков: «Если у нас не будет крестьян, то откуда же мы будем брать поваров?»

Оттого в ее сочинениях являются перед нами, с одной стороны, общие положения просветительной философии со всеми их достоинствами и недостатками, а с другой — отголоски личных воззрений императрицы и преобладающих качеств ее характера.

Ряд литературных произведений Екатерины открывается знаменитым «Наказом» Комиссии для составления нового уложения (1766). «Наказ» дошел до нас не в первоначальной своей форме, а в значительно измененной редакции, потому что Екатерина давала его своим приближенным на просмотр и позволяла им «херить». По собственным ее словам, прежде чем издать узаконение, она прислушивается к мнению «просвещенной части народа», одобрение которой принимает за «общенародное одобрение». Таким образом, вполне согласно с философами XVIII века, составительница «Наказа» в народе знает и ценит только «просвещенную часть», отождествляя ее с дворянством и совершенно забывая, что в действительности у этой части тогдашнего нашего общества «просвещения» было гораздо меньше, чем пудры на париках...

Как известно, в основу «Наказа» положен «*Esprit de lois*» Монтескье и трактат Беккариа о преступлениях и наказаниях. Оригинального, собственно самой составительнице принадлежащего, здесь очень немного, — до такой степени немного, что она и сама, по поводу этого своего произведения, шутливо сравнивала себя с «вороной в павлиньих перьях». Несмотря на все исключения и поправки, сделанные «просвещенными» ценителями и судьями, «Наказ» представляет собою явление столько же замечательное, сколько и неожиданное в официальной русской среде того времени. Искусная группировка и талантливое повторение гуманных и либеральных идей, высказанных признанными духовными руководителями тогдашней Европы, восторженное провозглашение человеческих прав и обещание служить им, ясно выраженное стремление к коренному преобразованию общественного строя (создание «третьего чина», равенство всех перед законом и пр.) — все это доставило «Наказу» громкую европейскую славу, усердно распространявшуюся заграничными панегиристами Екатерины и особенно Вольтером, возводившим Екатерину на степень классического божества. Гуманная сторона европейской философии и литературы, так ярко выразившаяся в Наказе, увлекла всех лучших людей екатерининского века; в сочинениях как самой императрицы, так и других писателей того времени, мы постоянно встречаем новые идеи гуманности, веротерпимости, свободы совести, разумного отношения к вопросам общественным, педагогическим, за-

конодательным, административным. «Но, — говорит историк нашей литературы, — проводимые в книгах, составлявшие предмет разговоров в обществе, бывшие темой рассуждений и речей в ученых и других собраниях, — эти идеи, однако же, плохо усваивались умом и сердцем и туго проникали в жизнь практическую. Как в древние времена русский народ долго не мог забыть старых своих богов, так и в новые времена поклонение новым просветительным идеям не только не уничтожало господства старого невежества, старых предрассудков и пороков, но и легко мирилось и уживалось с ними. Те же самые лица, которые читали либеральные сочинения и в рассуждениях и разговорах произносили громкие фразы о равенстве, братстве и свободе, в практической жизни обнаруживали грубый произвол, самовластие и всякого рода притеснения и несправедливости к своим ближним. Особенно резко это противоречие сказывалось в области крепостного права. Те же лица, которые ездили на поклон к Вольтеру и предлагали Руссо и Гельвецию любезное гостеприимство в своих поместьях, — не могли отказаться от рабовладения... и после Наказа, как и прежде, люди, читавшие либеральные сочинения, продолжали покупать и продавать крестьян...» *

Эти слова, верные сами по себе, все-таки недостаточно правильно освещают настоящее положение дела: выходит, что вся вина в неуспехе просветительной философии на русской почве падает исключительно на тогдашнее наше общество, которое, по невежеству своему, не доросло до высоких идей «Наказа». Выше мы видели, что указываемое автором «двоеверие» лежало в основе самой просветительной философии, — что и для Вольтера, как и для других представителей просвещения, книжная проповедь и практическая жизнь далеко не были одним и тем же. На русской почве, вследствие ее особенных условий, этот коренной разлад должен был проявиться еще резче. У нас литература, только что начинавшаяся, была явлением чуть не случайным, — достоянием очень небольшого интеллигентного кружка, считавшего ее вовсе не серьезною общественною силою, а только забавою, как «праздное время, в пользу препровожденное».

Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад⁴.

В этих словах Державина сказался не личный его взгляд на литературу, а общее воззрение эпохи. Сама Екатерина говорила: «На мои сочинения смотрю, как на безделки. Я люблю делать опыты во всех родах, но мне кажется, что все написанное мною довольно посредственно, почему, кроме развлечения, я не придавала этому никакой важности». Таким образом, у нас книга была дальше от жизни, чем где бы то ни было; сближение литературы с действительностью было еще впереди; путь к этой идеальной, лишь смутно мелькавшей в отдаленном тумане, цели только еще начинался робкими, неверными, детскими шагами... Путь этот, и без того нелегкий, становился подчас не менее трудным, чем путь царевича Хлора «на ту высокую гору, где роза без шипов растет», — с тою только разницею, что Фелица Хлора поддерживала, а юную словесность оставляла «между Лентягом и Брюзгой». Если бы новая эпоха принесла с собою действительный простор знанию; если бы просветительный век в России был таким не на бумаге только, а на самом деле; если бы, наконец, Екатерина усвоила правило Фридриха Великого, говорившего: «Самое лучшее, что я сделал для литературы, было именно то, что я предоставил ее самой себе»⁵, — то результаты этой эпохи были бы, по всей вероятности, иные. Среди ничтожной горсти образованных русских людей того времени были и такие, которые хорошо понимали потребности общества и готовы были служить ему в духе гуманной программы «Наказа»; но в глазах Екатерины, взявшей заботу о преобразовании общества исключительно на себя, такие люди являлись непризванными деятелями, «мрачными меланхоликами», «хулителями», которых нужно было держать подальше, и всякий раз, когда в литературе начинали слышаться серьезные общественные запросы, — ей тотчас же указывали «предел» и заставляли держаться в кругу безобидной забавы и пищеварительных идей. Новиков, Фонвизин и другие не раз испытали это на себе... Государыня давала тон литературе, была дирижером этого немногочленного оркестра, в котором торжественные звуки державинской оды сменялись, для приятного отдохновения, пьесками «в забавном русском слоге» или в стиле Вольтера, насколько фернейский мудрец представлялся только «забавником» (а мы видели выше, что именно в «милой шутке» Екатерина полагала главное его достоинство). Всякие другие мотивы, как неприятный диссонанс, должны были стушевываться и умолкать...

В самую либеральную пору своего царствования, вслед за изданием «Наказа», Екатерина основывает (1769) сатирический листок «Всякая Всячина», бывший, как тогда говорили, «пра-

бабкою» целого поколения сатирических журналов, последние голоса которых смолкли только пять лет спустя. Этот род литературы, бывший за полвека перед тем в большой моде в Англии, где его культивировали Аддисон⁶ и Свифт, в значительно измельчавшем и опошленном виде появился потом в Германии, в изданиях Геллерта, Рабенера⁷ и др. У нас переводы из этих писателей и подражаний им помещались еще в журналах 50-х годов прошлого столетия; но только примеру Екатерины обязана наша литература появлением журналов, всецело посвященных юмористическому нравоописанию. Добролюбов, в прекрасной статье своей об этих журналах, показал, что наша сатира того времени не имела острого жала, и что вообще жало ее чаще всего обращалось не вперед, а назад, — не к современности, а к прошлому, и притом — такому, которое было уже осуждено административными распоряжениями, так что осуждение его в сатире являлось косвенным панегириком этим распоряжениям, искоренявшим пороки и насаждавшим добродетели. Словом, сатирические журналы, в сущности, так же усердно славил «златый век российской Астреи», как и торжественные оды, только, так сказать, с другой стороны. Так оно и должно было быть по мысли «Всякой Всячины», которая затем и основана была, чтобы давать надлежащий тон следовавшему за нею потомству: она требовала от сатиры, во-первых, веселости и забавной шутливости, для прогнания «черной меланхолии», во-вторых — обличения пороков вообще, без всякого отношения к личностям, и в-третьих — снисходительности. «Кто только видит пороки, не имел любви, тот неспособен подавать наставления другому... Наш полет по земле, а не на воздухе, еще же менее на небеси; сверх того, мы не любим меланхолических писем...» «Меланхолия» нужна в трагедии, а в сатире должно быть веселье. «Добросердечный сочинитель, во всех намерениях, поступках и делах которого блистает красота души добродетельного и непорочного человека, изредка касается к порокам, чтобы тем под примером каким не оскорбити человечества; но, располагая свои другим наставления,ставляет пример в лице человека, украшенного различными совершенствами, т. е. добронравием и справедливостью... присовокупляет к тому пользы, из того проистекающие, и сладкое сие удовольствие, какое чувствует хранящий добродетель... Вот славный способ исправляти слабости человеческие!» А «изо всего составляти поношение», «бранити всех» есть «предмет злонравного человека...» Эти основные понятия о значении и задаче сатиры, высказанные в полемике «Всякой Всячины» с Новиковым, требовавшим

строгого обличения пороков, подробнее и определеннее были развиты Екатериною впоследствии, 13 лет спустя, в ее фельетонах, печатавшихся в «Собеседнике любителей российского слова» (1783) под заглавием: «Были и Небылицы». Здесь писателям даются, между прочим, такие советы: «Скуки не вплетать нигде, наипаче же умничаньем безвременным. Веселое всего лучше; улыбателное же предпочесть плачевным действиям. Проповедей не списывать и нарочно оных не сочинять. Где инде коснется до нравоучения, тут оные смешивать наипаче с приятными оборотами, кои бы отвращали скуку... Балагуры бывают не скучны, когда к словоохотию присоединяют природный ум, или знание приобретенного смысла, либо знание старины или что ни есть подобное, а скучны лишь Маремияны, плачущие и о всем мире криво и косо пекущиеся, от коих обыкновенно в десяти шагах слышен уже дух скрытой зависти против ближнего», и т. д.

Из этих объяснений очевидно, какая роль считалась возможною и допустимою для литературы. Екатерина чем дальше, тем строже охраняла указанные ею пределы и, ограничивая сатиру «улыбателным» нравоучением, то намекала Новикову, что за его резкие обличения в прежнее время его услали бы за тридевять земель, то давала резкую отповедь «свободоязычию» Фонвизина, по прочтении которой писателю оставалось только извиняться и оправдываться, то, наконец (в последние годы царствования) переходила от журнальной полемики к мерам уже вовсе не литературным (Новиков, Радищев, Княжнин). Но в то же время, проводя в своих сатирических сочинениях мысль о том, что при ней в России все стало гораздо лучше, чем прежде, Екатерина постоянно указывала и на прогресс в области мысли и слова. «В прежнее время люди охотнее упражнялись нынешнего в разговорах, касающихся поправления того-сего; разговоры же сии вели вполголоса или на ушко, дабы лишней какой беды оные кому из нас не нанесли; следовательно, громогласие между нами редко слышно было; беседы же получали от того некоторый блеск и вид вежливости, которой следы не столь приметны ныне: ибо разговоры, смех, горе и все, что вздумать можешь, открыто и громогласно отправляется... Мысли и умы, долго быв угнетены под тягостию тайны, вдруг, яко плотина от сильной водополи, прорвались». «Держитесь принятого вами единожды навсегда правила, — говорится в одном из писем к издателям «Собеседника», — не воспрещать честным людям свободно изъясняться. Вам нет причины страдиться гонений за истину под державою монархини,

Qui pense en grand homme et qui permet qu'on pense*.

Это свободолобие Екатерины высоко превозносилось всеми стихотворцами ее времени, которые действительно были до известной степени правы (как Державин в «Фелице»), сравнивая настоящее с недавно минувшим, но вместе с тем, по усвоенной ими манере выражаться, и значительно преувеличивали, тем более, что, как мы видели выше, свободолобие чаще всего выражалось только на словах; когда же «честные люди» начинали «свободно изъясняться» о таких сторонах русской жизни, изображение которых могло набросить тень на блестящую внешность эпохи и смутить ее веселье и жизнерадостную роскошь, — тогда эти «изъяснения» останавливались на первом же слове... Во всяком случае, такие писатели никогда не пользовались вниманием Екатерины, выражавшимся в поощрениях и наградах, — а эти последние очень много значили в то время, когда достоинство человека определялось чаще всего по его формулярному списку...

Требуя сатиры только «улыбательной», Екатерина являлась выразительницею той практической философии XVIII века, для которой идеалом служил горадиевский эпикуреизм, с его советами пользоваться жизнью, как «мгновенным даром небес» и не омрачать ее никакими неприятными впечатлениями. «Не моему перышку переделать, переменить, переложить, убавить, исправить и пр. и пр., что в свете водится, — писала Екатерина. — Я из тех людей, для которых *свет поди, как может*, а жить в оном, — *как определено*». Вывод ясен: жизни не переделаешь, а потому следует смотреть на нее снисходительно и не видеть пороков там, где существуют только слабости; безгрешных людей нет; суровая мораль ведет только к озлоблению; «живи — и жить давай другим». Само собою очевидно, что в обществе, еще только слегка затронутым умственной культурою, это правило могло получить только одностороннее толкование, которое чаще всего приводило к нравственной распушенности. Сатирическое изображение жизни, ставившее свою задачею «чистить нравы», обращалось в плоскую и скучную шутку или впадало в бесплодное резонерство; и в том, и в другом случае литература не приближалась к деятельности, не отвечала на ее запросы, не «запускала руку глубоко в жизнь», по известному выражению Гете, а только слегка скользила по ее поверхности.

* Стих Вольтера в послании к Екатерине II: «Кто мыслит как мудрец и мысли чтит других» (пер. с фр. Вл. Васильева).

Сказанное о сатирических статьях Екатерины вполне применимо и к ее комедиям. Эти пьесы, сочиненные по французскому образцу, с неизменно резонирующими субретками и слугами, которые оказываются далеко умнее и нравственнее своих придурковатых господ, замечательны только легкостью (для того времени, конечно) разговорной речи и попыткой обрисовать комическими чертами, довольно, впрочем, грубыми, несколько типов, бывших в те времена, так сказать, ходячею монетою в литературе. Все эти ханжи, пустосвяты, невежды, взяточники, русские «парижанцы» и т. п. были очень хорошо знакомы читающей русской публике еще со времен Кантемира и Сумарокова и, являясь лишней раз на сцену в комедиях императрицы, не приносили с собою ничего нового. Педагогическая цель комедии — «чистить нравы» при таких условиях достигалась так же мало, как и цель собственно-педагогических сочинений Екатерины — укоренять «добронравие», которое в воспитании как личным, так и общественным поставлено было на первый план. В обществе незрелом и далеко еще необразованном проповедь исключительного благонравия и благочиния, предпочитавшегося образованию и уму, могла быть понята, как и проповедь снисхождения к порокам, только односторонне и приводила чаще всего к морали чичиковского учителя. Когда и в книге, и со сцены повторяли, что «ум, если он только ум — сушая бездельца» и что «просвещенный разум становится вредным для того, у кого с юных лет не вкоренена в сердце добродетель», — тогда, естественно, среди людей, не сильных образованием, возбуждалось скорее пренебрежение, чем стремление к нему, и все больше и больше получали права гражданства насмешки над «умниками» и «умничаньем», которое «не доводит до добра». Запрещение сочинений Вольтера, — того самого Вольтера, о котором некогда Екатерина отзывалась так восторженно и в котором, лет десять спустя, она увидела только автора «вредных и развращением наполненных» книг, гонение на масонов, судьба Радищева и Княжнина и приснопамятная деятельность Шешковского служили, в глазах тогдашнего общества, сильным практическим аргументом в пользу предпочтения благонравия умственной деятельности и, конечно, не могли содействовать особенному развитию этой последней...

Таким образом, талант, при отсутствии оригинальности и вдумчивого отношения к жизни, оказался лишь поверхностным, и далеко недюжинная литературная сила разменялась на мелкую монету подражательного остроумия и отвлеченного режонерства.

